
Атрэй Блэквуд
Смех

Атрэй Блэквуд
Смех

https://litres.ru/74730943
SelfPub; 2026

Аннотация

Январь 1962 года, округ Букоба на берегах Танганьики: в миссионерской школе-интернате три девочки начинают смеяться так, будто кто-то рассказывает им самую смешную историю на свете, и в течение месяца «случаев» уже девяносто пять из ста пятидесяти девяти. Врач Артур Мьюир Рэнкин, посланный из Кампалы для расследования этого происшествия остаётся наедине с эпидемией, у которой нет диагноза. Оформленные как материалы, не вошедшие в официальный отчёт, с комментариями редактора 2014 года, «Смех» — холодный, ироничный и всё более неотвязный рассказ о границе между эпидемией и историей, которую нельзя рассказывать до конца, о смехе, ставшем симптомом, и о паузе, в которой людям удобнее не слышать то, что движется в голове.

Смех

I. Оскорбительно незначительное начало

Я начинаю с признания, которое в официальном отчёте никогда себе не позволю: первые недели я находил всё это забавным.

Не смешным — прошу понять меня правильно, — но именно забавным в том сухом смысле, в каком забавна канцелярская ошибка в чужом рапорте. Телеграмма, полученная мною в последний день января, гласила: «СТРАННЫЙ СМЕХ УЧАЩИХСЯ. ПРОСИМ ИНСТРУКЦИЙ». Так и напечатано, с неловкой паузой между словами, словно машинистка в Букобе сама не поверила тому, что печатает. Я прочитал её за завтраком, отложил вилку и засмеялся. Не задумываясь, не ища причины — просто засмеялся, коротко и непроизвольно, как засмеиваются над остроумной ошибкой телеграфиста.

Я записываю этот эпизод теперь не потому, что он важен. Я записываю его потому, что только в конце понял, с чего всё началось. Но не будем забегать вперёд.Меня зовут Артур Мьюир Рэнкин, я врач. В ту зиму я состоял при университетском колледже в Кампале и по совместительству числился тем человеком, к которому стекались бумаги с севера — из округов, где медицина была представлена одним офицером на двести тысяч душ. Букоба была таким округом. Озеро, холмы, миссии, банановые рощи, дороги, которые в се-

зон дождей перестают быть дорогами становятся болотом.

Дистрикт-офицер, сопроводивший телеграмму своим рапортом, писал с той обстоятельностью, за которую я втайне его ценил: случаи смеха среди учениц миссионерской школы-интерната в Кашаше, поведение девочек «странное, но не тревожное», школа просит инструкций, потому что не знает, в какую графу записать происходящее. В какую графу! Вы не ошиблись. Существовала форма, существовала графа, и происшествие упиралось в графу, как телега в пень. Я тогда пометил на полях: «отсутствие графы не делает события менее реальным, но делает его менее удобным». Это была моя лучшая шутка за весь год. Судьба, я теперь думаю, приняла её как вызов.

Я полетел на юг-запад в начале февраля — сначала на летучей лодке до Мванзы, потом ночным поездом до Таборы, затем на грузовике, который вёз рыбий жир, цинк и меня. Дорога шла вдоль озера, и оно было красиво тем особенным, безответственным способом, каким бывают красивы большие воды: оно лежало внизу, серебряное и равнодушное, и дышало. Я говорю «дышало», потому что другого слова у меня нет: поверхность поднималась и опускалась в медленном ритме, и я смотрел на это долгими часами с задней площадки грузовика, чувствуя себя человеком, который едет лечить чихание и зуд.

Кашаша лежала на холмах над озером. Школа — длинное приземистое здание с красной крышей, верандой, на которой

сохли тетради, и общежитием позади — встретила меня образцовым порядком и запахом диспансера: карболка, крахмал, пот. Директриса, монахиня средних лет с лицом, похожим на добротно сшитую перчатку, приняла меня в кабинете, где на стене висели карта мира, портрет королевы и распятие — трое смотрителей, каждый за своё. Она предложила чай. За стенкой, отчётливо и настойчиво, кто-то смеялся.

— Мы здесь немного нервничаем, — сказала директриса и налила мне чай, словно делала это двадцать лет подряд, и намерена наливать его ещё сорок, что бы там ни происходило за стенками. — Три девочки. Смеются и плачут. Поочерёдно, доктор.

— Давно?

— С конца января. Они смеются, потом плачут, потом снова смеются. Это продолжается часами. Иногда они засыпают посреди приступа, просыпаются — и продолжают с той же ноты, на которой остановились. Как будто смех — это мелодия, которую они обязаны доиграть.

Я спросил, что смешного, полагая, что кто-то из девочек напроказничал, кто-то слыхал запретную историю, а дальше — обычный школьный пожар взаимного возбуждения, который гаснет, стоит развести девочек по разным классам. Директриса посмотрела на меня с той вежливой жалостью, с какой смотрят на человека, задавшего не тот вопрос.

— Они говорят, что не смешно, — сказала она. — Они говорят, что не хотят смеяться.

За стенкой тем временем смех продолжался. И я, сидя с чашкой чая, поймал себя на том, что слушаю его так, как слушают музыку: ожидая темы, развития, разрешения сюжета. Его не было. Смех шёл ровной, аккуратной волной, с профессиональной правильностью, — и в этом было первое, что царапнуло меня под кожей, хотя я ещё не знал слова, способного описать происходящее. Смех был исполнен слишком хорошо, словно выучен.

Потом он оборвался, и начался плач.

— Поочерёдно, — повторила директриса. — Вы видите.

Я отставил чашку и пошёл смотреть. На всё в этой истории было потрачено время, которое мне очень пригодилось потом. Правда в том, что я пошёл смотреть с чувством человека, приехавшего выписать кому-то слабительное, и это чувство я вспоминаю потом с той особенной, выворачивающей стыдливостью, с какой вспоминают собственную неосторожность в доме, где когда-то был пожар.

II. Одиннадцать

В закутке за диспансером, куда уложили «случаи», лежали — сидели, стояли, ходили от стены к стене — те самые три.

Опишу первую, потому что её я запомнил лучше всех и потому, что с неё всё началось. Ей было лет четырнадцать. Девочка сидела на койке, привалившись к стене, и смеялась. Я уже говорил в первой редакции этих записок, что смех был правильным. Позвольте мне теперь сказать точнее, чем я говорил тогда: он был не просто правильным. Это был смех

человека над действительно удачной шуткой, смех, в который вложено понимание. Девочка смеялась так, как смеются в театре в лучший момент вечера, — и при этом глаза её, обращённые куда-то сквозь стену, в сторону озера, были совершенно пусты.

— Она понимает, что смеётся? — спросил я у сестры.

— Она говорит, что чувствует. Она говорит: как будто кто-то рассказывает ей самую смешную историю на свете, и нельзя не дослушать.

— А что за история?

Сестра перевела вопрос. Девочка перестала смеяться. На несколько секунд — я их считал, у меня была привычка считать, — в её лице вернулся человек: усталый, испуганный, четырнадцатилетний. Она сказала что-то сестре. Сестра помолчала, потом перевела с той ровной скорбной интонацией, с какой переводят безнадёжное:

— Она не может рассказать. Она говорит: если расскажет, то станет смешно и здесь.

Доктор, она говорит: смех заразен, потому что историю нельзя забыть, а можно только не рассказывать.

Я сказал себе — вслух, чтобы сестра услышала, — что мы имеем дело с психогенной вспышкой, что интернаты девочек дают такие вспышки во всех концах света, что симптоматика характерна, что прогноз благоприятен и что графу я всё-таки найду.

Сестра кивнула так, как кивают люди, не согласные с вра-

чом, но не имеющие при себе сил спорить. А в дальнем углу закутка, где на лежанке лежала третья, самая маленькая, вдруг раскатился смех — и я услышал в нём тему. Тот же рисунок. Ту же выученность. Словно в комнате сидели не три девочки, а один смех, распределённый на три тела, и они были ему костюмами.

Вечером того же дня их стало одиннадцать.

Я записываю эту цифру отдельной строкой, потому что она стала первой цифрой, из-за которой я перестал спать. Одиннадцать. Три — это совпадение; одиннадцать — нет. Я достал журнал, завёл таблицу, назвал её по-канцелярски («Случаи, Кашаша, февраль 1962») и заполнил первый столбец. Второй столбец предназначался для диагноза. Я долго сидел над пустой клеткой, ведя пером в воздухе, как дирижёр, у которого молчит оркестр. Поставил прочерк и закрыл журнал. Тогда это казалось мне временной мерой. Я думал, что найду слово, когда опознаю болезнь.Ни того, ни другого. Но о прочерке — позже. Он ещё сыграет свою роль, и подобного я не пожелаю и врагу.

III. Дурман

Февраль я отдал честной, методичной, несколько высокомерной работе по исключению.

Начали мы с еды. В то время по Восточной Африке прокатывалась волна отравлений муки: в зерно попадали семена дурмана, Datura stramonium, и деревни, смоловшие такое зерно, неделями жили в дурмане — с сухими ртами, камен-

ными зрачками и телами, не слушавшимися хозяев. Картина была знакома, версия складывалась, и я взялся за неё с азартом следователя, которому наконец подсунули улику. Мы вскрыли склад, пересеяли мешки, выловили из муки, если память мне не изменяет, одиннадцать семян — блестящих, почкообразных, тёмных. Одиннадцать! Я записал и это, потому что у меня уже начиналась странная связь с числами: я не мог их увидеть иначе как знаки.

Фармацевт при миссии — человек, относившийся к собственному языку как к редкой коллекции и тративший её бережно, — взял щепотку муки, размешал в воде, поднёс к губам и выпил с видом лаборанта, жертвующего собой ради науки. Через час он заявил, что чувствует себя прекрасно и, более того, голоден. Через день семена уехали в Кампалу на анализ, который показал ровно то, что и должен был: в муке был дурман, но он не имел никакого отношения к тому, что творилось в закутке за диспансером.

Разберём его, сказал я себе. От дурмана зрачок стоит, как канадский доллар, — у наших девочек зрачки были широки, но живы, они сжимались от света, я проверял фонарём двадцать раз. У дурмана рот сух — у наших слюнки текли, слёзы лились, девочки просили пить. Дурман бьёт и валит с ног — наши ходили, кричали, сопротивлялись, когда их пытались удержать, с силой, на которую не способен отравленный. И главное: дурман кончается часами. Наши приступы шли днями. Я следил за первой девочкой трое суток подряд,

заводя часы: смех, затишье, плач, затишье, смех. На четвёртые сутки она попросилась на уроки. Я разрешил с опаской. Она вернулась к вечеру — с той же ноты.

Тогда я пошёл спинным мозгом. Люмбальная пункция у семнадцати пациентов подряд, без исключения, из чистой совести. Пунктаты уехали паром в лабораторию, я писал сопроводительные, и на сопроводительных, помню, ставил метку: «СРОЧНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА». Мне нравился этот штамп. Он давал моей работе то достоинство, которого она втайне не имела.

Затем — кровь. Пробы от пятнадцати пациентов в острой фазе уехали в Энтеббе, в вирусологический институт, через озеро и через границу, с сопроводительными, из которых я старательно выжал всё канцелярское и ничего личного. Ответ пришёл через шесть недель, и я до сих пор помню его первый абзац: «Обследованные пробы. Ни вируса. Ни антител. Ни у больных, ни у выздоровевших, ни у контрольных». Ни у контрольных! Они взяли кровь и у здоровых — чтобы было с чем сравнить, — и они оказались так же стерильны, как больные. Институт просил уточнить, есть ли у нас, собственно, больные.

Я ответил осторожно и, как мне теперь кажется, трусливо: уточню.

К концу февраля я имел на руках чистую кровь, чистый спинной мозг, чистую муку, чистую воду из колодца, чистые пункции у семнадцати человек — и девяносто пять смею-

щихся из ста пятидесяти девяти. Я сидел над таблицей ночью, при керосиновой лампе, и смотрел на прочерк во втором столбце. Восемьдесят клеток прочерков, которые переставали быть временной мерой.

И тогда случилось то, что я назову первым настоящим событием этих записок, хотя физически оно длилось три секунды. Сестра — та самая, спокойная, — наклонилась над столом посмотреть на таблицу. Я положил перо. Мы сидели молча. И я сказал, не поднимая головы, в пространство между нами, ровно и вежливо:

— Вы заметили, что они смеются одинаково?

Сестра помолчала.

— Я заметила это в первый же день, — сказала она. — И не знала, как вам сказать.

Я записал «одинаковый рисунок смеха — нуждается в дополнительном исследовании» и ушёл спать со спокойной душой человека, который завёл тему для следующего совещания.

IV. Глаза

Мне хочется описывать всё дальше по-канцелярски, аккуратными блоками: симптомы, версии, меры. Сопротивление это понятно и простительно: канцелярский слог — это система предохранителей, и я откручивал их один за другим в течение всего марта, потому что за ними стояло то, для чего в медицинском словаре графы не нашлось.

Итак, март. Девяносто пять из ста пятидесяти девяти. За-

ражение — я упорно держался этого слова — шло по классам, по койкам, по друзьям; от заболевшей к той, что сидела рядом, к той, что делила с ней тарелку. «Инкубационный период» — часы, дни. Я строил схемы связей на ватмане, соединяя имена нитками, как сыщик, распутывающий заговор, и схема росла, и нитки были красными, и в какой-то момент я понял, что разглядываю не схему заговора, а что-то другое, что-то, чему у меня не было названия: карту, на которой было изображено, как одна вещь дышит сквозь сто пятьдесят девять тел.

Я смял ватман и сжёг его за диспансером. Это первая беспочвенная жестокость, которую я совершил за свою жизнь, и она была направлена против бумаги.Теперь о глазах. Я обещал ранее рассказать о взгляде.

У сестры в диспансере стоял ширмовой столик; на нём лежали графики, заполненные моими расчетами. Однажды утром, обходя палату, я поймал взгляд: две новенькие — их привезли накануне, — лежавшие через проход друг от друга, повернули головы одновременн, разницей в полсекунды. И в этот момент между их лицами лежало что-то, что я готов описать только как натяжение. Оно было видимо, словно струя воздуха над раскалённой дорогой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.